## РОЖДЕНИЕ ДОЖДЯ

Город заканчивался там же, где и скоростная магистраль, которая, изменяя высоту и направление, огибала стальным кольцом названные в честь сторон света районы. Как ровно очерченный периметр, разделявший серую духоту столицы и пространство, которое, в зависимости от настроения или времени суток, было то открытое, то пустое, ограниченное лишь горизонтом, а по сути — зрением, уже не различавшим ничего вдали.

Всегда можно было приехать к границе на поезде — требовалось лишь выйти из дома пораньше, когда ещё не совсем рассвело, поезда ходят с увеличенными интервалами, но и почти никто их не ждёт.

На окраинах, у самой границы с песками, город необъяснимо менялся, шаг за шагом обращаясь в пустыню.

Над домами, которые казались бесплотными, как пустынные миражи, поднимались прозрачные полосы дыма, едва различимые на фоне утренних сумерек — хотя труб было не видно, и город ещё спал. Во всём — в оттенках неба, в ветре, хлеставшем в окна вагонов, даже в навесных перронах — чувствовалось неумолимое приближение пустыни. Расстояние между станциями хагаты увеличивалось — в соответствии с законами распределения площадей. Шумные улицы становились безлюдными проулками, по которым никто не ходил. Вместе череды нанизанных друг на друга кварталов открывался вид на строительные пустыри, заваленные медленно разлагающимся мусором, отходами жизни.

Город постепенно сходил на нет, растворялся в солнечном зное или холодном ночном сумраке — и за последней эстакадой начиналось широкое ветреное море.

Вдали, на его высоких песчаных берегах, виднелись станции для очистки атмосферы, стоящие в каком-то запутанном порядке, на неравном отдалении друг от друга — если, конечно, не обманывали глаза. Эти башни — высокие, как ни одно из городских строений, необъяснимо возведённые там, где фундаментом служил лишь проседающий песок — напоминали величественные древние храмы.

Море Анила было широкой впадиной, лишённой жизни, подёрнутой зыбким белесым песком, по которому невозможно ходить, не увязнув по колени. За морем поднимались отвесные стены, изогнутые навстречу ветру, как стальные щиты, а далеко за этой тщетной, постоянно разрушающейся баррикадой, стояли наполовину заметенные песком исследовательские станции.

Сильные морские ветра иногда приносили со спящих земель сумрачные облака, и никакие атмосферные станции не могли предотвратить мизрака-ваари, во время которого город умирал — по иным линиям даже переставали ходить поезда. Если что и расцветало вопреки засухам на уставшей земле, то после таких дождей обречено было на смерть. Песок на дне анильской впадины становился грязью, которая поднималась, как во время потопа, чтобы разлиться ручьями по всей пустынной равнине, высыхая на жаре, приходившей на смену ливням, превращаясь в призраки рек. Предсказания мизрака-ваари всегда тщательно подготавливались заранее — с тщетным вниманием к движениям бурь, к возмущениям на выгоревшем небе Дёзы, — но дождь всё равно приходил вопреки расчётам, когда сам хотел.

Ана провела раннее детство в уннам-лая для особенных детей.

Родителей своих она не помнила, но почему-то была уверена в том, что они прилетели из далекого южного города, вроде Хапура, где каждый день идут чистые дожди, а воздух пропитан холодом и влагой. Возможно, кто-то из взрослых сказал ей об этом, или же Ана придумала себе родителей сама, но даже в самых ранних своих воспоминаниях она всегда знала, что её заставляют жить в мире, которому она никогда не принадлежала.

Здание уннам-лая стояло на самой окраине города, за стальным скелетом эстакады. Из окна комнаты Аны открывался ослепительный вид на безжизненное море, на заградительные стены, подпиравшие его берега, и на пустыню, которая казалась бесконечной из-за обмана зрения, простираясь до самого горизонта, где дюны сливались с небом, таким же бесцветным, как и песок.

Несколько раз Ана видела, как зарождается над пустыней дождь.

В детстве она никогда не слышала предсказаний погоды и даже не знала о том, что они существуют — старенький приёмник, оставленный или просто забытый кем-то в её комнате, умел принимать единственную волну, которая упрямо игнорировала движения ветров, ограничивая свой репертуар сбивчивыми новостями, заунывной музыкой и шипением помех.

О приближении дождя Ана узнавала сама.

Часто перед грозой становилось так душно, что дхаавы в здании уже не успевали остужать воздух, захлёбываясь в песчаной пыли, а открывать окно ей было нельзя. Смеркалось, мир сходил с ума, вечер опережал день, и она мучилась от духоты и пекла.

Сосед Аны, живший с ней в одной комнате, не умел говорить, хотя другие дети прозвали его Болтуном. Ана уже не помнила собственное прозвище — как и лицо Болтуна, — но она помнила радио, песню, которая играла по вечерам, дождь, принесённый ветром, и свои сны — куда лучше чем то, что происходило в действительности. Действительность же была там, за окном, в мёртвой пустыне, которая тянулась до горизонта, где прерывалась полоса реальности, и небо превращалось в песок. А пустыня никогда не менялась. Вернее, менялась лишь несколько раз — когда начинался дождь.

\* \* \*

Всё небо над морем затянула густая чёрная пелена, что-то ярко вспыхнуло, озаряя грозовые облака. Прогремел страшный гортанный раскат, опаздывая за молнией, которая уже рассекла судорожным разрядом небо. Гром доносился откуда-то из глубины, из самых недр анильской впадины. Ана так удивилась, что даже попыталась открыть окно — одна в комнате, без дыхательной маски, — но тугая оконная ручка, к счастью, не поддавалась. Голубая электрическая вспышка вновь осветила на секунду береговые пески.

Ана не помнила сам дождь — быть может, кто-то увел её из комнаты, или же воспитательница, которая неизменно, как призрак, преследовала её весь день, рассказывая о запретах и давая наставления, зашторила окно, рассудив, что ей не стоит на это смотреть.

Ана не помнила дождь, но она помнила шум дождя. Сначала тихий и неуверенный шелест, а потом оглушающий рёв падающей с неба воды, перебиваемый раскатами грома. А потом — тишина.

После дождя ещё долго нельзя было выходить во двор. Все двери уннам-лая закрывались. Но Ане хотя бы позволяли смотреть в окно.

Ненастные сумерки сменялись вечерними. Ветер уносил чёрные тучи в сторону города, к высоким каменным башням. На транспортных линиях загорались тревожные красные огоньки, но поезда всё ещё ходили — до самой последней минуты, пока их не настигнет прошедшая над анильским морем гроза.

Первый в жизни приступ случился у Аны как раз во время дождя.

Тогда больным урахксатой ещё не ставили уколы, и Ану заставляли дышать через ингалятор — а это было куда мучительнее, чем приступ удушья. Весь оставшийся день её тошнило, а голова кружилась, как перед обмороком.

Первое её воспоминание в жизни — толстая трубка в горле, резкая вонь от едкого препарата, выжигающего лёгкие. Белые бесплотные люди вокруг неё говорят вполголоса. Из-за трубки в горле, содравшей гортань, и зловония лекарств к горлу подкатывает рвотный спазм, однако желудок пуст, и Ана лишь чувствует, как что-то судорожно сжимается у неё внутри, а рот наполняется горькой слюной.

Второе воспоминание.

Маска на лице больно врезается в щёки и давит на виски. Маска пахнет точно так же, как и та отрава, из-за которой у Аны был немой приступ рвоты. Эти события отделяют мгновения или же долгие годы. Дышать очень тяжело, приходится с силой втягивать в себя воздух. Кто-то ведет Ану за руку, настойчиво тянет за собой, и она не сопротивляется, хотя не хочется никуда идти. Коридор уннам-лая — длинный и пустой. Потом резкая полоса света, как скальпель, разрезает спокойный сумрак — они выходят во двор.

Небо совершенно жёлтое. Как песок. Время суток определить невозможно. Полный мальчишка рядом со входом замирает, когда Ана спускается вниз со своим невидимым спутником, и смотрит на неё, странно выпучив глаза, даже выронив от удивления что-то из рук. Ана наклоняется, ей становится интересно, что же он уронил… После этого темнота.

Болтун был ниже её ростом, полноватым, с редкими сальными волосами — это всё, что она запомнила о его внешности. Болтун как-то неловко и настойчиво проник в жизнь Аны и навсегда остался в её памяти странным безликим призраком, всё время следующим за ней по пятам. Болтун молчаливо ходил за Аной, куда бы она ни направлялась, какие бы надуманные воспитателями запреты не решила нарушить. Болтун ничего не делал, не пытался говорить с ней на немом языке — Ана вообще сомневалась, что он знает жесты, которыми общаются люди, лишённые голосов. Впрочем, она быстро привыкла к Болтуну. Он стал её тенью.

Ана помнила: его отдышку после того, как они поднялись вместе на последний этаж, чтобы нарушить запрет подниматься на последний этаж; его страх перед громкими звуками — кто-то прокричал во всю глотку, заскрежетали громкоговорители, и Болтун конвульсивно вздрагивал, как будто его ударяло током; его сонное безразличие ко всему, что не нарушало тишины — до тех пор, пока они не выходили из стен уннам-лая; его ужас, когда он не мог её узнать в дыхательной маске… Однако Ана никак не могла вспомнить его лица. Она даже забыла, если вообще знала когда-то, почему он не говорил — это был порок речи, врождённая болезнь, как её неумение дышать выжженным воздухом Дёзы, или он просто боялся собственного голоса так же, как и бесноватых воплей других детей по утрам.

Через какое-то время прогулки с Болтуном стали для Аны чем-то таким же важным, как и лечебные процедуры по утрам. Ведь это было то, что делало её особенной, отличало от остальных — бессменный помощник, который покорно тащился за ней, куда бы она ни шла, даже если за это их ожидает неизбежное наказание. Болтуну доставалось не меньше — как если бы он сам отвечал за свои решения, а не шёл на поводу у Аны. Но Болтун не обижался. Мало что могло нарушить его равнодушие. Кроме дыхательной маски Аны.

Всякий раз, когда Ана надевала её, Болтун застывал от ужаса. Ана пыталась объяснить ему, что это по-прежнему она, что ничего не изменилось, а страшное устройство у неё на лице помогает ей дышать, однако Болтун бледнел и пятился, панически озирался по сторонам, пытаясь найти другую, настоящую Ану.

Та непонятная связь между ними, помогавшая понимать друг друга без слов, обрывалась, когда Ана надевала дыхательную маску. Из-за этого Ана сторонилась двора — там она не могла дышать сама, а Болтун не мог узнать её в маске. Двор стал запретным, по-настоящему, а не как те особые этажи и комнаты в уннам-лая, куда им не разрешали ходить. Выход во двор был той чертой, за которой они существовали только поодиночке.

Этот непреклонный час тишины, запрет на прогулки во дворе, нарушение которого обращалось кошмаром для них обоих, длился весь день, от рассвета до темноты, завершаясь лишь с заходом солнца, когда небо меняло свой цвет, и темнели барханы.

Поздно вечером, дождавшись, пока Болтун заснёт, а в небе зажжётся хотя бы одна звёзда, Ана выскальзывала из комнаты, прихватив с собой дыхательную маску. Разгулировать по коридорам в такой час запрещалось, но Ане нравилось нарушать запреты. К тому же ни одна из дверей — на лестничную клетку, на первый этаж, в темноту подъезда — не была закрыта.

Так, по крайней мере, она помнила теперь.

Вместе с сумерками пустели коридоры. Во всём здании выключали свет, и идти приходилось на ощупь, касаясь шершавых стен. Надо было добраться до конца коридора и спуститься по ступенькам на самый низ, крепко хватаясь за хлипкие перила, чтобы ненароком не поскользнуться. После этого оставалось только надеть маску и отворить последнюю, самую тяжёлую дверь.

Ана никогда не уходила далеко, ей вовсе не хотелось забредать в пустыню или даже гулять по двору — достаточно было лишь встать неподалёку от подъезда, повернувшись спиной к городу, освещённому миллионами огней, и тяжело, через силу дышать, с трудом привыкая к воздушным фильтрам, ощущая ровный бесстрастный холод, головокружительный простор ночного моря, отдававший запахом едкой химии от маски. В небе над ней сквозь полуночную темноту проступали тусклые звёзды. Впрочем, наверняка это было всего лишь сном.

А ещё Ане как-то приснилось, что Болтун заговорил.

Они стояли вместе во дворе, на Ане не было маски, однако дышалось ей так же легко, как и в помещении. Догорал закат, в уннам-лая во всех комнатах уже выключили радио и приглушили свет. О них просто забыли. Ана оглянулась — весь двор пересекали страшные чёрные тени, какие можно увидеть только во сне. Она захотела что-то показать Болтуну в надежде, что это неожиданно вызовет у него интерес, и тут услышала его голос — ровный и громкий, но в тоже время бездушный, неживой, как у заводного механизма, речь которого, не связанная с дыханием, становится пустой, теряет все признаки жизни. Болтун произносил какие-то слова, громко и чётко, глядя на Ану в упор, однако то, что он говорил, было полностью лишено смысла. Очертание трагедии. Результат сложения общей площади. Это было похоже на речь сумасшедшего. Ана просила Болтуна замолчать, зажимала уши руками, но он продолжал говорить — из него безостановочно лился этот поток слов, накопившийся за годы молчания. А над головой тем временем сгущались грозовые облака.

Ана видела, как над пустыней начинается дождь только дважды — второй раз, когда уже жила в своей комнате одна.

Она не была уверена в том, что действительно случилось с Болтуном. Он исчез, устав от скучных странствий по этажам уннам-лая. Все коридоры были уже изучены, тайные комнаты найдены, запреты нарушены.

И Болтун оставил её одну.

Ана никак не могла этого понять, но ей ничего не объясняли — о Болтуне боялись говорить вслух. Ана была не в силах смириться с тем, что её друг внезапно ушёл, исчез — вот так, без истории, — просто сгинул как тень, перестал существовать.

И она придумала ему историю. Историю Болтуна.

Ана представляла, как Болтун однажды не пошёл вслед за ней, когда она вновь захотела нарушить очередные запреты — подробности не имели значения, всё равно их обычно не сохраняет память.

Впрочем, это случилось во второй половине дня.

Или даже вечером — в это время солнце уже не печёт так сильно, и можно даже смотреть на небо, не прикрывая глаза рукой. Болтун, такой же, как и всегда — чуть насупленный, с сальными волосами — дождался, пока Ана не исчезнет в коридоре. Потом, с обычным вялым безразличием ко всему, что происходит вокруг, поднялся со своего любимого стула у окна, в котором отражался жёлтый пустынный вечер, и вышел из комнаты, аккуратно притворив за собой дверь, точно собирался скоро вернуться, ведь его ждали стул и вид из окна.

Болтун не вернулся.

Он прошёл мимо одинаково закрытых дверей навстречу широким лучам солнечного света. Спустился по лестнице, ступая медленно и осторожно, не пропуская ни одной ступени. Но всё это и вправду не важно.

Был вечер, садилось солнце, Болтун вышел во двор. И всё с тем же молчаливым безразличием пошёл дальше, оказался неведомым образом за стеной, отделявшей их пыльный мирок от настоящей пустыни, а потом стал забираться на высокий бархан. Ана представляла: тонкая вереница следов, которые тут же засыпает ветер, и одинокая знакомая фигура, похожая на тёмную песчинку на фоне жёлтого песка.

Смеркалось, и небо стало тёмно-серым. Хотя нет. Это было перед самым началом дождя.

Чёрные облака, быстро растущие над анильским морем, скрывали солнце. Послышался первый раскат — издалека, с той стороны, где кончалось море. Но потом громовой грохот оборвался, погас во всё ещё раскалённом вечернем воздухе — ведь время пока не настало, и гроза должна была подождать.

Ветер срывал с застывших волн на барханах тонкие гребешки песка.

\* \* \*

Ана не видела дождя. Но она слышала — помнила — шум воды.

Во время дождя закрывали шторами окна. В коридорах и комнатах гас свет, как будто из-за грозы нельзя было зажечь даже газовые лампы. А ещё воспитательница забирала у Аны приёмник. Ана не понимала, почему. Это было наказанием — пусть даже в такие часы приёмник и передавал лишь шипение да треск.

Ана совсем не помнила воспитательницу. Теперь она представлялась ей лишь невыразительной тенью, бесплотное присутствие которой ощущалось везде и повсюду. Зато Ана хорошо помнила, что делала воспитательница — она забирала приёмник по вечерам и во время дождя.

Каждый вечер, в неизменный час, по комнатному приёмнику, умевшему различать в волнах эфира лишь единственную станцию, передавали одну и ту же песню — долгую и тоскливую, как молитва. Высокий мужской тенор, музыка, совсем тихая, словно в тени голоса… — Ана не разбирала слов, видимо, пели на забытом наречии, вышедшем из обихода сто лет назад. Голос судорожно, почти надрывно тянул бесцветные гласные, вздрагивал от хрипа помех, сбивался с ритма и снова подхватывал длинный заунывный напев. Ана удивлялась, как можно так долго растягивать гласные и не задохнуться, но голос только набирал силу, сиплый шорох помех становился тише, и песня уже звучала во всей комнате, вырвавшись из приёмника. Но потом голос вновь затухал и медленно гас, сливаясь с игрой инструментов.

Ана так никогда и не узнала, о чем он пел. Она слышала, как кто-то — наверное, из взрослых — называл эту песню плачем.

Песня разливалась волнами, подобно дождю, то затихала, то вновь расходилась с новой силой — протяжные гласные, переливчатая мелодия, шипение помех.

Ана смотрела в окно и придумывала историю для Болтуна.

Песня становилась для неё частью угасающего вечера.

А потом воспитательница забирала радио.

\* \* \*

Ана представляла — в день, когда Болтун ушёл навсегда в мёртвые пески, перестало работать радио.

Голоса, единственная радиостанция, по которой передавали новости о первом в истории космическом корабле, и тоскливая напевная молитва по вечерам, и рассказы о жизни в огромном каменном городе, где с наступлением сумерек зажигаются синие огни, заменяя собой свет звёзд, и что-то ещё, теперь уже позабытое — все это распадалось на шорох и треск помех, бессмысленный и бессвязный, и ничего уже нельзя было собрать воедино, та самая действительность, которая забывается быстрее, чем сны, рассыпалась с закатом подобно песку, исчезала в дыхании пустыни — ветер, окрепший с началом сумерек, поднимал в воздух песчаные волны, где-то в сердце спящих земель начиналась страшная буря, а голоса тем временем затихали, медленно гасла заупокойная песня, и приёмник бессильно замолкал.

Свет в уннам-лая приглушали, и это всегда поражало Ану — ведь она была уверена, что электричество состоит в близком родстве с разрядами молний, от которых песок превращается в стекло. Потом закрывали тяжёлыми шторами все окна — детям нельзя было смотреть на дождь. А потом наступала глухая непроницаемая темнота.

В последний раз Ана видела грозовые облака над дюнами незадолго до того, как её отправили в город, в видая-лая первой ступени, где все умели говорить и дышать без маски. Вспоминая об этом, она часто думала — в те дни для неё не существовало запретов, она то нарушала все заведенные в уннам-лая порядки, но ни разу не решилась выглянуть в окно во время дождя, довольствуясь шумом воды, бегущей по стенам. Тайна дождя навсегда осталась за закрытым окном.